

Ольга Макеева

Александр Крамер

ТРЕТЬЕ ПОСЛАНИЕ В НЕБЕСНУЮ КАНЦЕЛЯРИЮ



* * *

Форма моего сердца стандартна.
То есть – формально –
сердце мое ничем не отличается от твоего.
Это банальное утверждение, впрочем,
требует тщательнейшей проверки.

С добросовестностью эксперта,
неторопливо и педантично,
ты расчищаешь поверхность:
тряпку за тряпкой,
побрякушку за побрякушкой – прочь.
Ничто не должно мешать
увлекательному процессу исследования.

Обнаженное тело мерзнет.
Из-под шершавой гусиной кожи
Проступают сизые реки
вен и артерий,
Но сердца еще не видно.
Тогда ты берешься за скальпель,
отодвигаешь левую молочную железу
и делаешь глубокий разрез
от середины груди до подмышечной впадины.
Внутри обнаруживается темно-розовое,
плотное мясо;
и по странной (или не очень?) ассоциации
ты вспоминаешь, как позавчера
выбирал на рынке филе индейки.

Судорожно сглотнув,
ты раздвигаешь ребра,
разводишь тяжелую плоть,

останавливаешь кровотечение
и промокаешь багровую полость
впивающей салфеткой.
И вот, наконец, оно:
самое что ни на есть обыкновенное,
медленно и тревожно пульсирующее сердце.

Ты долго и очень внимательно его
разглядываешь,
а потом переводишь взгляд на мое лицо
и произносишь, не то с печалью, не то с досадой:
– Жаль. Я-то было подумал...
Но, к сожалению, мне пора.
Зашивай сама.
Нитки с иглой в углу на тумбочке...

Баллада о самолете

Как большая, тяжелая птица,
загребая шасси асфальт,
разбегается самолет – и подрывается в
облака,
судорожно подрагивая, втягивая бока,
выше и выше, за кроны, за крыши,
с баса на тенор и альт.
Над облаками лазурь в золотой глазури,
в лебяжьем пуху,
высвеченная насквозь такой заманчивой
теплотой,
что хочется здесь и выйти,
здесь и остаться, махнув рукой
на пункт назначения, цель поездки
и прочую чепуху.
Выходят, однако, редко.

Как правило, все сидят
смирно и по традиции
что-то кушают, что-то пьют.
Самолет – он, конечно, птица,
но в тоже время слегка верблюд:
по барханам туч, ревуч и могуч,
ползет он, куда велят.
Но горний смеркается свет,
и что-то бурчит командир корабля:
снижаемся, пристегните,
погода мерзкая, как всегда.
По стеклам иллюминаторов
торопливо бежит вода.
Неизбежно, неотвратимо
проступает внизу земля.
Командир корабля, как обычно, зол,
как обычно, немного пьян.
Это кончится скверно – но не сегодня.
Когда-нибудь. Вообще.
Тьма продолжает спускаться –
что, впрочем, в порядке вещей.
Керосиновый альбатрос
в электрический падает океан.

А в океане сыро и ветрено, ветрено и темно.
Гроздью коралловых рифов
растут из чрева его дома.
Крупная рыба купна весьма,
мелкая – сходит с ума
в поисках смысла жизни, и пропитания заодно.
Птица-верблюд опускается ниже и ниже,
все ближе ко дну.
Тьма прикрывается флером

мерцающих фонарей.
Некто, прильнувший к иллюминатору,
рыба иных морей,
сладко зевая, рассматривает
наползающую глубину.
Если бы эта рыба была не рыбой, а, например,
зорким и чутким ястребом –
разглядеть бы она могла,
как копошатся на дне океана бесчисленные тела,
как на коралловых ветках
качаются плоские морды химер.
Если же этому ястребу
выдать оптический телескоп
ровно за девять минут
до взлетно-посадочной полосы,
он бы увидел ее окно, и ее в окне, и часы,
каковые она изучает,
печально хмурия высокий лоб,
потому, что снова прошел хлопотливый день,
как пустейший сон
потому, что завтра опять
выходить из дома ни свет, ни заря,
и какие там к чертовой матери
облака, океаны, моря –
ей бы просто выпасться, но,
при всем желании – не сезон.

Эта женщина вовсе не молода
и вовсе не так хороша,
чтобы кто-то там, в облаках,
немедленно требовал телескоп.
Этим вечером ей нездоровится,
и, пытаясь прогнать озноб,

она заворачивается в плед
и пьет бесконечный чай.
В тишине ночной она успокоится,
думая: все пройдет,
нужно только поспать,
нужно только закрыть глаза и считать до ста.
И возможно, она и вправду уснет
под утро, на полчаса –
и тогда ей приснится
большой и самоуверенный самолет.
Ей приснится, как он совершит посадку,
как пассажиры рванут
к трапу – и в этот момент у нее зачирикает смс:
«Извини, я слегка задержался,
лет на десять, но вот я здесь,
жду тебя у второго выхода
через пятнадцать минут».
И она побежит,
густую толпу размалывая в муку:
где этот чертов выход,
зачем она только сдала багаж?..
И таким настоящим окажется этот
сентиментальный мираж,
что, споткнувшись, она проснется
от острой боли в левом боку.
А проснувшись, поймет не сразу,
что можно уже не бежать,
можно только лежать
на влажной, сбившейся простыне,
как изможденная рыба
неподвижно лежит на дне,
вежливо дожидаясь проголодавшегося
моржа.

Так бывает: с утра до ночи
живешь, как будто во сне,
а с ночи и до утра, во сне единственно и живешь
правильно и понятно,
пока будильника острый нож
эту понятную жизнь
не вспорот наотмашь по всей длине.
Что случится потом с этой женщиной,
точно не знает никто:
ни премудрые крабы, ни глупые рыбы,
ни даже она сама.
Очевидно, в ближайшее время ее,
как и прочих, накроет зима,
и какой-нибудь муж
ей прикупит шубу и норковое манто.
И они поплывут, покачиваясь,
на тихой двуспальной волне,
от зимы к весне,
коварные рифы молчанием заклиная.
но она никогда не сможет забыть,
не сможет не вспоминать,
как бежала по трапу
и как потом задыхалась, лежа на дне.
самолет совершит посадку,
пассажиры покинут борт,
командир корабля и бортинженер
накатят по пятидесяти
и покатают, куда глаза их,
небом оплавленные, глядят,
и когда за ними закроет двери старый аэропорт,
перед ними раскинется океан,
где ветрено и темно,
где холодные души

упрятаны под панцирь и чешую,
и плывут останки заветных снов
одесную и ошую,
как разбитые корабли, уходя на дно.

Поленька

Поэма

*«Мне день и ночь покоя не даёт
Мой чёрный человек. За мною всюду
Как тень он гонится...»*

А.С. Пушкин

*«...Казаться улыбчивым и простым –
Самое высшее в мире искусство»*

С. Есенин

«Улыбайся, Поленька, улыбайся»

Некий древний
советский кинофильм

Улыбайся, Поленька, улыбайся,
Натуральнее, мягче, не напрягайся.
Посмотри – нам снова дают весну,
А к обеду, наверное, включают солнце.
И до жабр его заглотив блесну,
Холодами зачуханные чухонцы,
Мы пойдем гулять на залив – туда,
Где сумасшедшее небо развешано
Над угрюмым песком, и отравленная вода
Пустые бутылки о камни швыряет взбешенно.

Улыбайся. Что там и где болит,
Никого, понимаешь ли, не скобит.
И потом – эти скорбные, слезные позы
Не особо, радость моя, приличны:

Детям старше шестнадцати лет занозы
Ковырять не к лицу публично.
Ибо сказано: много приносят мук
Изломанные, а значит лживые жесты.
Улыбайся и слушай, как – тук-тук-тук –
Дождь колотится по подоконной жести.

Улыбайся, Поленька. Всех достали
Эти твои изысканные печали,
Эти надрывные сказки с дурацким концом:
Надо бы как-то светлее, благостней.
Надо уже поворачиваться лицом
К земле – на земле немало найдется радостей.
Вот, например, весна.
А что небосвод дрожит
Мерзостью ледяной –
так в этом вся прелесть севера:
Если всмотреться, то можно на нем различить
Десять, а то и двенадцать оттенков серого...

И ни слова неправды. Все именно так и есть.
Улыбаюсь, смотрю на небо и крашу проседь.
Слишком много курю, и все собираюсь бросить,
Но правдивый мой спутник,
насмешку сменив на лесть,
Так изыщно, опять и опять,
подносит мне зажигалку –
Что бросать, безусловно, жалко.

Он бывает весьма забавен, мой черный страж,
Он бывает зануден – но знает меня до донца.
До последнего стыдно-нервного волоконца,
Он ведет учет всех продаж моих и пропая.

Только с ним и выходит, по лезвию лет скользя,
Говорить о том, о чем говорить нельзя.

Временами он даже заботлив и незлобив,
Тараканам моим подсыпает вкусные крошки,
Не влезай – говорит – туда-то, убьёт немножко...
А потом аккуратно ловит,
в усмешке лицо скривив,
Из трансформаторной глотки
Выпадающие ошметки.

Поднимайся, Поленька, поднимайся!
Говорил же дуре – не нарывайся.
Ведь большая девочка – так зачем
Аж по локоть пальцы совать в розетку?
Не хватало, что ли, тебе проблем?
Из говна возможно слепить конфетку,
Но зачем же кушать?
Оно на вкус
Не улучшится новой посредством формы...
Но давай, поднимайся – уже и пульс,
И давление, в целом, в пределах нормы.

Выпей водочки, Поленька, покури
До сурового привкуса пепельницы внутри,
До утра промучайся от изжоги,
А с утра начинай – в десятый, в двадцатый раз –
Как бы новую жизнь, и лечи ожоги
Вековым бальзамом премудрых фраз.
Поживи обычно, спокойно, скупю,
От пустых забот не мечи икру,
Съезди в отпуск – и не в кривую свою халупу,
А на море, как это делают все вокруг.

Съезди в отпуск, Поленька, не блажи.
Ты сама слепила такую жизнь,
От которой воешь теперь белугой,
Вот и кушай ложками позитив –
Поначалу будешь глотать с наугутой,
А потом покатит за чернослив.
Что за скука – все время пенять судьбе
На свои же собственные старания?
Может, доктора? Пусть он пропишет тебе
Аминазин для коррекции мироздания...

Моему кавалеру черному без затей,
Очевидно, скучно повсюду ходить за мною.
Он глодает мертвые кости моих страстей,
Неудачи мои выводит пастись в ночное,
Он растит слонов из досады моей мошки
И все ставит, и ставит им градусники...

Этот свищ никакой вишневецкий не изведет –
Только резать, не дожидаясь перитонита...
Но увы и увы:
кто со скальпелем к нам придет,
Тот от скальпеля и погибнет.
В плену гранита
Развлекается нержавеющей вода,
Говорит: «навсегда» – а слышится: «никогда».

Вот такая у нас изысканная любовь –
Потрохами наружу, полусырой прожарки,
Чтобы сочилась, простите за рифму, кровь
Из-под тончайшей корочки, чтобы парки
Кушали, утирая с подбородков кровавый жир...
И тринадцать оттенков серого – на гарнир.

* * *

Задыхайся, Поленька, задыхайся,
Но по-прежнему улыбайся.
И не бойся. Когда задохнешься совсем –
Я буду держать тебя за руку
И уже не спрошу – зачем?
А по дороге за реку
Я расскажу тебе сказку о трех китах,
На которых держится твердь земная:
Ненависти, любви и чести. И в черных кустах
Подорожных птица вздохнет ночная.

И рука в руке, с улыбкой и налегке,
Мы дойдем и в дырявую лодку шагнем отважно,
Не оставив следа на теплом еще песке.
Но поверь – это будет совсем не страшно.

Улыбайся, Поленька...

Вариации на тему

Эпиграф очевиден

До нового года неделя – и сходит с ума
предрымьем измученный город в едином
порыве. Безвкусицей ярких огней расцветают
дома, гламурные лавки отчаянно стонут в
наплыве предпраздничной шушеры. В пору
шампанских надежд и снов мандариновых
каждому хочется снова за шумом, за треском,
за блеском нарядных одежд упиться до
нового счастья, до вещего слова, которое
было вначале, а после начать с пустого

листа новогоднего злого похмелья какую-то
новую жизнь – как, простите, зачать святого
младенца, испив молодящего зелья. И даже
того, кто рачителен, трезв, умудрен сединами,
тощей мошной и большой поясницей, берет в
окружение грёз золотой эскадрон.

А добрые феи разносят печенье с корицей, и
празднество длится, а кто-то уже перебрал, а
кто-то устал и упал в оливы, в ананасы... До
нового года неделя – а праздничный бал уже
закрутился. Целуют принцесс свинопасы,
угрюмые золушки сажу стирают с лица и едут
за нежной мечтой, матерясь по привычке,
и красная девица черной икрой молодца
прикармливает. И последняя теплится спичка.

Смотри – покати́лась по небу звезда,
И чья-то душа навсегда в никуда,
Ушла, уткла, отлетела.
Печальную сказку прочтя до конца,
Вздохнула, зевнула, сблелнула с лица
И глупое бросила тело.

Но эту слетевшую с неба звезду
Нетрезвые ангелы в адском чаду
Заразной людской лихорадки
Подвешат на елку – к шарам, к мишуре,
К запретным плодам в золотой коже –
На вроде старинной лампадки.

И скучно, и грустно, но некому, черт побери,
и некогда – лавки пустеют, икра дорожает –
сказать: подожди, задержись на бегу, посмотри:

звезда. Снегопад долгожданный ресницы смежает и тропы сужает, и давешней черной грязи последние плечи платком укрывает пуховым. До нового года неделя – и в этой связи и старый, и малый, прикрывшись рождением христовым, выходят походом крестовым на добычу мечт... Не надо, пожалуй, мешать – зашибут ненароком. Тем более, все же возможно, что это не меч Дамоклов, но месяц блестит над могучим потоком сограждан. Возможно, затем и придумана смерть, чтоб жизнь не казалась докучной и призрачно-пресной, а эта дурная декабрьская круговерть с дарами, волхвами и привкусом манны небесной, по сути, спасенье из тлена и тьмы, из чрева прожорливой, долгой зимы...

Мой Ленинград

Я родилась и росла
В городе,
Коего более нет,
Где полусонный свет
Падал на выгнутые зеркала
Долгой реки, от тоски густой,
Из акварельного неба, где
Плыл опечаленный лик золотой,
Не уступив звезде.
И кумачовый пыл
Влажная крыла пыль.

Где врастали дома
В трещины мостовых,

И в коммунальных их
Норах сходили с ума
Страшные, злые старухи, свой
Глухонемой доживая век,
Где, задыхаясь веселой травой,
Строили утлый ковчег,
В мутные зря стаканы,
Поэты и тараканы.

В этом городе не
Было желанья куда-то бежать:
Нищего быта мусоля печать,
Жизнь возлежала на дне.
Некогда, ныне и присно
Прели в истоме дождя,
И птеродактилем коммунизма
Реяла длань вождя
Над отсыревшим пространством
С убийственным постоянством.

* * *

Мама мыла, мыла раму
Мыла раму и буфет.
Солнце утреннее прямо
Проливалось на паркет,

Шелестели обветшало
Занавески на окне,
Что-то радио трещало,
Первомайское вполне.

Два столетья русской прозы
Прятал вышитый батист,

Под кустом китайской розы,
Чах отцветший декабрист.

А в углу за этажеркой,
В раже кройки и шитья,
Чадо мучилось примеркой
Кукле платья из тряпья.

Мама мыла и стирала,
Прибирала и мела,
Вытрясала покрывала,
Протирала зеркала,

И над пылью коммунальной
Плыл по радиоволне
Марш уборки генеральной
Гимном новенькой весне.

* * *

В городе Ленина Владимира Ильича
Было как-то непринято громко кричать
в трамвае,
И лузгать семечки – неприлично,
Равно как жарить истово «Отче наш»,
Не посещать филармонию и Эрмитаж,
Хотя бы эпизодично.

А также:

- петь советские песни;
- не выучить наизусть график развода мостов;
- на голубом глазу вещать, что Федор Михалыч скучен и не созвучен веку;
- и прочая, прочая...

Здесь – а точнее, там,
в Городе, коего нет,
Всякий имел какой-нибудь абонемент –
В консерваторию или, скажем, в библиотеку.

Там в разговорах всегда какой-то подтекст
Присутствовал:
не то, чтобы фронда или протест,
А так – едва уловимое, смутное нечто,
Завернутое в изысканный политес
Развесистых фраз, пространно-густых словес,
Приправленных, уж конечно,
Цитатой из русской классики.
И если, корежа гладь
Беседы, над ней воспаряла
исконно-русская «блядь»
В мареве дымно-водочно-огуречном -
То воспаряла красиво. И так утекали дни,
Вдоль пустоты,
Поперек машиной возни,
И утекли.
В никуда.
Навечно.

* * *

Скорбный ангел на игле,
Что ты мечешься во мгле
Что грустишь в сыром тумане,
Tell me, darling, s'il vous plait.
Век ли, жадный и лихой,
Плебс ли, жалкий и бухой
Омрачают лик твой ясный
Чепухой и требухой?

Надзиратель биржевой,
Часовой береговой,
Черный ангел, что ж ты выешься
Над моею головой?

Ты добычи не ищи,
Ты не целься из пращи
Поживу еще немного,
Потерпи уж, не взыщи.

Нет утехи в естестве.
Нет блаженства в божестве.
Очень ветрено сегодня
На Неве.

* * *

Не потому, что навсегда
Ушли нелепые года
Блаженной молодости нищей,
Не потому, что смех горчит,
И черный ветер под ключицей
Левой свищет,

Не потому, что ты один,
И он один, и до седин
Дойдя, где весело, где трудно,
Все чаще добрые мои
Друзья, забыв свои бои,
Сном засыпают беспробудным,

Не потому, что тишина
Все реже нежностью полна,
Все тише манит обещаньем,

И крутит, крутит колесо,
Угрюмый век, и давит сок
Из наших душ с особым тцаньем,

Клянусь тебе, не потому
Я пристально гляжу во тьму
Минувшего с такой печалью,
Но потому, что там, внутри
Лампадкой мерной все горит,
Блестит «за мужество» медалью

Последний настоящий свет,
Которому названья нет
И места нет на лохотроне
Интерактива и бабла...
И эта тьма вполне светла
На данном в ощущениях фоне.

03-04-2017

В Петербурге весна всегда наступает вдруг.
Как испуг.
Как насморк.
Как ДТП.
Горожане, от мартовских стылых ветров и вьюг,
Натурально, осатанев
И даже несколько отупев,
Неожиданно обнаруживают вверху
Солнечный круг и небо вокруг.
Ужель? –
Говорят они недоверчиво, –
И далее весь апрель

Не зачехляют – на всякий пожарный –
Пальто на чухонском пуху.
А штормовые норд-осты ладожский гонят лед,
И по газонам черным сорнячная зелень прет.

В Петербурге весна, как война, наступает не
По какому-то там банальному календарю:
На работу уходишь в марте,
Возвращаешься к ноябрю,
А наутро глотаешь колючий февральский снег.
Это климат, всего лишь климат, mon cher ami,
Ты пойми, это климат – не рок, не судьба.
Отнюдь.
И, пожалуй, еще возможно уехать куда-нибудь,
Далеко-далеко,
Где тепло и легко,
Где не стУдит и не штормит.
Но всегда найдется причина или предлог
Не уехать –
И здесь начинается рок.

Начинается депрессивный питерский rock'n roll,
Поп-механика русского сплина на десяти ветрах,
По обычаю дующих в спину
Со всех сторон
И на всех углах,
Выворачивающих нутро.
И прохожий, будь он неладен,
Будь он четырежды бедуин –
Устает от этого ветра,
Грязных туч и свинцовых вод,
И в насквозь отсыревший мозг,
Едва разжимая рот,

Заливает прогорклыми литрами
средней паршивости кофеин,
В подорожной дрожа кофейне или бистро.
А допив, матерится сквозь зубы –
и резво бежит к метро...

* * *

Полюби этот город, опухший от слов и слез
До припухших желез, до промокших седых волос,
До истошного пафоса наипростейших фраз,
Полюби этот город любим.
Навсегда. Сейчас.
Растворись в амальгаме севера.
Ляг на дно.
Воспари.
Но стенать и сетовать перестань.
Полюби эту мутную взвесь,
Леденящий морок,
Господню срань.
Полюби это мрачное время – другого может
быть не дано.

Я сижу у окна.
Я вижу солнце.
Я слышу звенящий смех.
В Петербурге весна наступает – но не для всех.

Одна

Вечер как вечер. Комната в два окна.
Мама уходит. Я остаюсь одна.
На ночь стакан кипяченого молока.
Спать не позднее одиннадцати. Пока.

Это такое счастье в двенадцать лет,
Это свободы будущей торжество,
Чаемой юности первый, скупой привет.
Взрослая девочка. Дома. Без никого.
Чаю с вареньем – и с книгой улечь в рассвет.
Спать не позднее одиннадцати? Вот нет.

Я прихожу под утро. Квартира спит.
В кухне записка. В записке унылый быт.
Что-то про хлеб, про мусор и три рубля.
А у меня весна, и горит земля
Под каблуками, и крыша течет, журча,
Радостью, робостью, нежностью без ума.
Парус белеет, скудный забыт причал.
Девочка выросла. Девочка все сама.
Дряхлый будильник потряхивает зарю.
Мама встает и уходит. Я крепко сплю.

Редкое солнце в холодной дрожит воде,
Я возвращаюсь поздно. Любовь в труде.
Счастье в борьбе. Бобер победит козла.
Мама заходит редко. Долги. Дела.
Дети, они же внуки, ложатся спать.
Тусклая лампочка. Кухня. Извечный чай.
Выцветший свитер. Морщины. Седая прядь.
Много вопросов. Не хочется отвечать.
Да, разумеется. Ты, как, всегда, добра.
Только – не надо. Поздно. Тебе пора.

Ночь на исходе. Последняя ночь беды.
Холодно, очень холодно. Дай воды.
В окна вливается бледная немочь дня.
Белая кожа. Белая простыня.

Кружатся судьбы. Летят и ползут года.
Мы остаемся непугаными детьми,
Глупыми, старыми, маленькими детьми –
Только до той леденящей поры, когда.

Черное утро. Белая тишина.
Мама ушла. Я осталась. Совсем одна.

Человек и пылесос

В городе белых ночей и серых камней,
В городе, раздерганном на цитаты
и риторические вопросы,
Живет человек.
Двести пятьдесят дней
В году он изрядно занят: он продает пылесосы.
Служба его опасна, служба его трудна –
Покупатели жмутся, дирекция требует
выполнения плана,
И если, к примеру, завтра он не продаст ни хрена,
То послезавтра будет изображать баклана,
Пролетающего над самым важным,
нужным и дорогим:
Квартирой, дачей, машиной,
доходным местом...
И вот он куда-то бежит,
прикидываясь молодым
И резвым, каждым словом и каждым жестом
Подчеркивая почтительную любовь
К пылесосам, к начальству
и – вот ведь пакость! – к коллегам,
И только нервно подрагивающая бровь
Иногда выдает его смутное
недовольство забегом.

Пылесос,
если к нему внимательно присмотреться, –
Прекрасен.
Вы только вслушайтесь в это меццо-
Сопрано на тысячу восьмьсот
Ватт! Как он мужественно сосет
Ваше дерьмо, блестя полированными боками!
Хватит смешить людей швабрами и совками,
Хватит с вонючей тряпкой
ползать по грязным углам,
Уподобляясь лузерам, фрикам и старым козлам,
Ибо достоин лучшего в вашем лице человек,
Ныне и присно.
Позвольте, я выпишу чек.

Жизнь груба и борьба. Это общее место.
Рассуждать о нем – все равно,
что водку мешать с портвейном.
Да и наш человек из такого замешан теста,
Что привычно чурается в ужасе благоговейном
Рассуждений любых, что могли бы дурно
Повлиять на эрекцию графика сбыта.
И за сим превесело, а точнее сказать, бравурно,
Он трубит хвалу пылесосам,
ударникам чистого быта,
Он, дыхание затая,
внимает мудрости руководства,
Он приветливо улыбается
сорок восемь часов в неделю,
Он живет окейно –
и вовсе не чует в себе уродства,
Как не чуют говнища свиньи
И кабачные менестрели.

У него, разумеется, все не хуже, чем у других:
Ипотечный кредит, форд фокус,
Жена из умеренно дорогих.
Дети... дети возможны, но необязательны.
По утрам
Он трусит по парку,
Мечтая сбросить парочку килограмм.
А над парком клубится бледный утренний пар.
Человек уже не молод, еще не стар,
Он сопит, крихтит, спотыкается, дребезжит –
Но бежит.
Разгоряченные легкие кушают CO₂,
И немного болит голова.

Сто пятнадцать – плюс-минус – дней в году
Человек отдыхает,
В меру трудов, долгов и ежеквартальных премий.
Ходит в кино. В театр. Изредка выпивает,
Но аккуратно,
Без душных вино-водочных откровений
Отпуск они с женой проводят, к примеру,
В Греции,
В этой излюбленной гавани офисного планктона.
Жаркое солнце
Мозги размягчает до консистенции
Спермы.
И с четырехзвездочного балкона
Обозревая недлинную,
Хлопотливую жизнь свою,
Человек полагает ее и весьма,
И очень даже вполне,
И, потом, возвращаясь в привычную колею,
Пару недель улыбается ну совершенно искренне.

Чем хороши Италия, Турция или Греция?
За культуркой ли вы прилетели, погреться ли,
А посмотришь на южное море раз,
Другой – и поймешь, что жизнь удалась.
Это реки севера, что текут
В желобах гранитных, все ткут тоску,
Отражая небо цвета свинца,
Цвета помыслов больного творца,
А на субтропических берегах
Истощаются и тоска, и страх.

Так и проходит жизнь. Незамысловато.
Аннушка в супермаркете
Не спеша выбирает масло,
И облака из растрепанной стекловаты
На Петропавловские оседают прясла.
Время,
На сто процентов отконвертированное в бабки,
Скручивается, сжимается, усыхает.
Человек же меняет бабки на цапки и тряпки,
Но внезапно, вдруг, останавливается, вздыхает,
И, нелепый вздох запивая, к примеру, пивом,
Он стоит и уныло пялится в мутное небо,
Как в большой монитор,
По которому неторопливо,
Пробегает странная надпись:
«Ты был – как не был».
Человек молчит – и его вчасос
Целует божественный пылесос.

Точка бифуркации

Инесса Арманд целует Владимира Ильича.
Тело ее упруго и кровь ее горяча.

Тонкие губы
дрожат от революционной нежности.
Ильич покоряется неизбежности.
Она говорит ему:
mon ami, all we need is love,
и всемирная революция –
в этом ты совершенно прав –
но сначала любовь:
эта ночь, как Сара Бернар, щедра...
Революцией мы займемся с утра.

И Владимир Ильич кивает – но вяло, без огонька.
На него нападает некое подобие столбняка
и, как мелкие бесы,
дурацкие фразы в застывшем мозгу гудят:
донна Роза, я старый солдат.
шаг вперед, два шага назад.
Ильич отворачивается к окну.
За окном – пресловутая Belle Époque
и весенний Париж...
О, боже, как же он одинок!
Предводитель, учитель, вождь
рабоче-крестьянских масс, –
как он взмучен и жалок сейчас.
Он глядит и глядит в окно –
лысый, потный, глазенки узкие,
он молчит,
и надежда-
охбожежтоймой-константиновна-крупская,
боевая подруга, верный товарищ,
коровища в толстых чулках,
набухает скупыми слезами в серых его зрачках.

А она говорит:
Вольдемар,
посмотри, этот поезд в огне,
но давай позабудем хотя бы на время
о долге и о цене.
Потому что весна на исходе.
Потому что я так хочу.
Эти бесы твои – гони ты их... к Федормихалычу.

И тогда, забыв обо всем,
Вольдемар-Ульянов-Ильич,
обнимает Инессу Арманд, как цемент – кирпич,
обволакивает, стекает в ее бесстыжую шепотню.
Броненосец в потемках сбрасывает броню.
Je t'aime – выдыхает он – Je t'adore,
Je suis fou de toi,
я не знаю, кто виноват –
но знаю, как дважды два,
что нам делать.
Соединяться.
Еще и еще.
Пролетарии категорически ни при чем.

Утром они отправятся
на Гар Монпарнасс или Гар де Лион,
и уедут куда-то на юг.
Куда – не важно.
Она и он.
Колесо истории крикнет, чавкнет,
застопорится – но потом
все же покатится дальше –
правда, немного иным путем.
И не будет ни штурма Зимнего,

ни Авроры, ни броневика,
пьяная матросня
разбредется по питерским кабакам,
буржуазная революция
победит в отдельно взятой стране,
пока они кувyrкаются
на измочаленной простыне.

Смешно сослагать историю –
она не знает частицы «бы».
Нелепо для этой, отдельно взятой,
иной измышлять судьбы.
Нельзя, извините май френч,
налепить марципанчиков из говна,
но можно, пожалуй, налить вина
и, покуда луна,
вглядываться в далекий,
утонувший в крови времен
бель-эпошный Париж,
где шумят каштаны и стонет аккордеон,
где Инесса Арманд, трепеща
и что-то нежное лепеча,
Недостаточно горячо
целовала Владимира Ильича.

12X12

Поэма с прологом Пролог. Профессор филологии

Профессор филологии Петров
Георгий Валерьянович, почетный
Заслуженный, ведущий, и тэпэ,
На днях простыл – и нынче нездоров.

В тоске температурно-безотчетной,
Как тухлый плод в яичной скорлупе,
Он апатично попивает чай,
В окно поглядывая невзначай.

Там, за окном – промозглый мелкий дождь,
Прохожие, проезжие, собаки,
Привычное столичное оно.
Не приведи, господь, теперь помрешь –
Никто и не заметит, как во мраке
Не разглядит чернильное пятно.
Профессор силно кашляет взхлеб,
И вытирает запотевший лоб.

А улица бежит себе вперед.
Все меньше лиц в толпе, все больше физий,
Калашных рыл да вороватых рож.
Затянут петербургский небосвод
Без просвету. Все далее Элизий,
Все ближе окончательный правож.
День брызжет грязью, потом и слюной –
И медный Петр мается виной.

Георгий Валерьянович, устав
Смотреть в окно, берется за газету,
Но и в газете – дрянь да ерунда
Кочует императорский состав
Из края в край. Царица лазарету
Свезла цветов. На фронте, как всегда,
Бардак и дезертирство. И опять
В столице хлеба стало не хватать.

Везде воруют. Могут и убить.
Непоправимо портится погода.
Повесился какой-то психопат.
Мечтая все отнять и поделить,
Бастуют два депо и три завода,
Владельцы кроют пролетариат,
А тот сидит себе по кабакам
На радость господам большевикам.

...Как мысли гадкие к тебе придут
О диком, жадном, пакостном народе, -
Некрасова, пожалуй, перечти,
И вспомни все: страдания, тяжкий труд,
Напрасное стремление к свободе --
И прослезись, и все ему прости.
Вот только после не читай газет
И не ходи в общественный клозет...

Профессор филологии Петров,
Тургенева старинный почитатель,
И Гаршина большой пропагандист
Всецело за падение оков –
Но против свинства. Недоброжелатель
Скептически вздохнет – идеалист!
С поправкой на трагический момент,
Мы назовем его: интеллигент.

Так давеча, у ректора в гостях
Он добрый час убил на ахиною:
Мол, русский бунт, луч света в царстве тьмы...
Но как-то все запутались в сетях
Дискуссии. А если быть честнее,
Тем вечером научные умы

Гораздо больше волновал вопрос
Фонемы «ы», не признанной всерьез.

Куда как лучше, чем митинговать,
Протестовать, решать или решаться
Тем более, хвататься за ружье, –
Спокойно и достойно продолжать
Любимым делом мирно заниматься,
Любить народ и презирать хамё –
Не то, чтобы радея за своё
Здоровье – опасаясь замараться.

Товарищ, верь! Судьба фонемы «ы»,
Фонеме «и» ея неидентичность –
Какой-то там «позиции» важней.
А что с того, что будем немые мы –
Тут требуется некая пластичность
Моральная, и ты до лучших дней
Закрой глаза и уши, рот закрой
И подавись бессмысленной хандрой.

Пройдет зима, и лето, и опять
Зима настанет, жадная и злая,
Кровавая и жуткая зима.
И встанет рать, и в землю ляжет рать,
И алыми зарницами пылая,
Стозевная навалится чума,
И кто навстречу ей поднимет взгляд,
Тот взглядом расшибется о приклад.

* * *

Но что же наш профессор? Все сидит,
Все лечит насморк и мизантропию,

Все смотрит в запотевшее окно.
Буржуйка за спиной его чадит,
Послушно умножая энтропию,
Но не тепло. А, впрочем, все равно.
Под свистопляску пьяных топоров
Все что-то пишет гражданин Петров...

12x12

1.

Десять дней, которые потрясли мир,
превратили страну в сортир.
В квартире профессорской проживают:
собственно профессор, прачка Аглая,
дворник Хабибназаров Хабибназар
и вечно пьяненький комиссар.

Комиссар не дурак пострелять из нагана,
Баба евонная играет на фортепиано
профессорском, одним пальцем, собачий вальсик
и смолит папиросы, как лесоповальщик,
сидя на кухне, в халате и в бигуди...
Но все еще впереди.

2.

Закрывай глаза, закрывай глаза, закрывай,
Не смотри назад, не смотри вперед, не смотри,
Как по рельсам катится дребезжащий трамвай,
Так и ты катись, только слизь с лица подотри.

Ты катись обломком гнилым по черной волне,
Ты ползи по красной стране, как вошь по мотне,

Научись не знать, научись глотать без стыда,
Провожать друзей тишком, молчком – в никуда.

Научись ходить, как все, и глядеть, как все,
Подмечать, как жадно множатся упыри,
Но молиться только салу и колбасе.
Не смотри назад, не смотри вперед, не смотри...

3.

«А вы помните, батенька,
в тысяча девятьсот восьмом...»
«Нет, знаете ли, не помню».
«При непрямом
указании на субъект или причину...»
«Собачатина, в принципе,
чем-то напоминает конину...»

«Владимир Михайлович?
Нет, его сегодня не будет,
и завтра, наверное, тоже не будет...
Мда-с, очень странные люди».
«Говорят – вы присядьте поближе –
били по почкам...»
«Вот, могу угостить отменнейшим кипяточком!»

«Понимаете, Луначарский...»
«Что Луначарский?»
«Представьте, он пишет драмы...»
«Паек, уверяю вас, царский!
Так что, в принципе,
что бы Владимир Михайлович ни говорил,
ничего такого...»
«...нашли под утро. Уже остыл».

4.

Поэт умирает,
Потому что дышать ему больше нечем.
Выдохнув черную мерзость двенадцать раз,
Голосом пьяным, страшным, нечеловечим,
Он задыхается – и оставляет нас,
Сирых, убогих,
Умеющих дышать углекислым газом,
Забыть все то, что забыть нельзя,
Над загаженным, заржавленным унитазом
Новой жизни.
Мерзая самое себя,
Он уже не сможет подняться,
Он лежит и смотрит куда-то за край листа,
И над ним склоняются ангелы смерти –
Все те, двенадцать.
Далее – пустота.

5.

А они выходят из подъезда
Да идут себе по холодку,
Делегаты дьявольского съезда,
Бога приравнявшего к штыку.

Это что за хрен сухой и бритый
Прячется неловко за углом?
Выходи, христосик недобитый,
Поделись буржуйским барахлом!

Ветер свищет, вьюга жадно вьется
В круге улиц, фонарей, аптек...
На снегу багровом остается
Голый страшный бывший человек.

«Мы все с рождения приговорены
К жестокой смерти, мы заключены
В сосуд весьма непрочный и порочный.
Живем и ждем: вот-вот они придут,
Возьмут в штывы и вешать поведут,
А что потом? Никто не знает точно...»

Так говорил заслуженный пиит
Молоденькой влюбленной поэтессе,
Трещал камин и пламенел лафит,
Все было, как в изрядно пошлой пьесе.

Заслушивая смертный приговор,
Он вспомнит этот глупый разговор –
И улыбнется...

Впрочем, есть еще один вариант – уверовать, И в очистительном пламени красной чумы.

Рабу
 тупорылому
 проповедовать:
 Мы не рабы!
 Рабы не мы!
 Чтобы слог звенел,
 как новая жизнь – железен,
 Разрывая время
 рифмами,
 как гранатами.

Только тот поэт,
кто стране полезен:
Маршами,
лозунгами,
плакатами.
Чтобы
на всю округу
орать,
как заправский пьяница,
«Аллилуйя!»,
вылакав славы бочку.

А когда
ни черта
на дне
не останется –
Твердо
поставить
пули
точку.

... как-то раз комиссар выстрелил
профессору в спину –
но пуля в барабане,
по счастью, не было.
Профессор, представьте, выступил:
предложил не брэнчать ночами на фортепьяне.
Комиссарша обиделась:
будет тут всякий
недорезанный фраер
командовать красной женой!

С тех пор профессор, навроде дворовой собаки,
дергается, если кто-то стоит у него за спиной,
и уходит на службу как можно раньше,
пока победивший пролетариат
спит, умаявшись за ночь
на винно-водочном марше...

Николай Гаврилович, ну так и кто виноват?

9.

А город умирает – и в бреду
Предсмертном он особенно прекрасен.
Закат дрожит на вековечном льду,
Как алый флёр на свадебном атласе.

Все замерло – деревья и дома,
Дворцы и улицы. И только тени
Прозрачные крадутся по углам –
Неловкие, нетрудные мишени.

Короткий выкрик вспыхнет и замерет
В безмолвии, как раненая птица.
А город умирает – и умрет,
И дальше будет нам всего лишь сниться.

10.

Чтобы выжить – сначала нужно
Основательно умереть –
И хвалебную песню спеть
Обязательно, ненадуманно.

О героях времен кровавых,
О величии палача,

Об орлиных его очах
И лучах негасимой славы.

Пой пронзительно, честно, смело:
Никого из тех гордецов,
Кто бы плюнул тебе в лицо,
Не осталось на свете белом...

11.

Георгий Валерьянович Петров
Осунулся, лишился двух зубов
И вид имеет скорбно-затрапезный –
Но жив, и до сих пор преподает
Среди изрядно вымерших болот
Основы фонологии любезной.

Профессор бесполезнейших наук,
Он выжил, он забился под каблук
Эпохи, он отлично научился
Смотреть, как все, и говорить, как все,
Как хомячок, крутиться в колесе,
Но главное – молчать. И век продлился...

12.

Так, походя, растапывая в прах,
И взращивают липкий смертный страх,
Горячей кровью щедро поливая.
И этот страх на годы, на века
Въедается в подкорку мозжечка,
Как опухоль условно-видовая,

И оттого-то в неудобный час
У совести для каждого из нас

Всегда открыта потайная дверца:
Какая бы ни грянула напасть –
Всегда возможно просто промолчать
И где-нибудь спокойно отсидеться...

Hasta la vista

*Враг вступает в город, пленных не ища –
Хоть и было в кузнице ажно два гвоздя...*

В отвратительное утро беспробудного правления от тяжелых сновидений пробуждается тиран, и встает, и с отвращением тащит царственную тушку к золотому унитазу в беломраморный клозет. У него болит желудок, и тошнит его жутчайше – не от лести хитрожопо-вернопопданных скотов, но болезненно-постыдной, неприличной для героя и народного кумира натуральной тошнотой. Посещение клозета доставляет облегчение, но предательская слабость и поганенькая дрожь остаются в жидком теле, застревают в организме августейшего больного и раскачивают твердь. Но тиран себя хватает иступленно за гонады, запивая альказельцер на ходу курвуазьём, и торопится немедленно доказать себе и миру, что не дряхлая вонючка, а конкретный мачо мэн. И по утренней прохладе разлетаются курьеры, воспаряют самолеты, с песней строятся полки, смертоносные ракеты задирают клювы к небу, небо медленно хренеет, наливаясь свинцом. Мачо мэн, сблевав украдкой, залезает на кобылку, то ли ржавую,

как слава, то ли бледную, как блядь. Реки крови, горы трупов, море слез, миллион терзаний – все из давешней злосчастной прорастает тошноты.

Здесь сторонний наблюдатель справедливо предположит жесточайшее похмелье – но окажется не прав, ибо подлинной причиной возмущения организма подгнивающего мачо стал испорченный лосось. Истекавший нежным соком и zelo благоухавший, он казался превосходным – супер, прима, манифик! Но приправы перебили легкий привкус разложения, и никто не догадался, не просек и не пресек. Виноват, конечно, повар, безответственный вредитель, не радевший об отчизне, не учувший беды: кабы он, подлец, понюхал, кабы, сволочь, пригляделся, не случилось бы кровавой и бессмысленной резни. Оправдания нелепы, и смешны, и безрассудны – но нельзя сказать, что этих оправданий вовсе нет: дело в том, что старый повар, жалкий, жадный, жирный повар пополудни разосрался с раскрасавицей женой. Что она ему сказала, что он ей в сердцах ответил – пересказывать противно, но в большом его мозгу эта чертова пластинка все крутилась и вертелась, изнурая, иссушая трудолюбие и прыть. Гранд-маэстро дел кухонных, властелин ножей и вилок, он утратил в одночасье властный взор и острый нюх, все гадал да изумлялся, все терзался, отравитель... Рыба? Что? Какая рыба? Да, конечно, хорошо.

А красавица молодая на другом краю столицы возлежала на диване и глядела в потолок, и дурное настроенье, послужившее причиной безобразного скандала, заливала коньяком. Нет, она отнюдь не стерва, и совсем не истеричка; хоть, пожалуй, и не ангел, а, скорее, херувим: нежный, белый и пушистый... Но и ангела, пожалуй, можно стрижкой безобразной основательно взбесить. И теперь она страдала, и теперь она рыдала на всклокоченном диване, ненавидела себя, это зеркало напротив, эту жалкую квартирку и постылого супруга, провонявшего борщом. Но наверно, но конечно, но всего и всех острее – криворукого дебила, завитого мудака, парикмахера-стилиста, за немыслимые бабки обкорнавшего красулю, натурально, под горшок. И вообще, столичный сервис, неизменно-беспощадный и бессмысленно-циничный окончательно достал: переплываешь вдвое, даже втрое, а ни капли уважения к клиенту, всюду чванство да понты. Опоздать – святое право, нахамить с невозмутимой и с почтительной ухмылкой – наивысший пилотаж... А не нравится – ну что же, так и скатертью дорога: вас, жлобов, у нас в избытке, как-нибудь переживем.

И примерно в то же время модный мальчик-парикмахер, осторожно растирая по руке троксевазин, криво морщился и думал с утомительной тревогой: неужели, в самом

деле, все же трещина в локте? Это ж надо было утром так преглупо навернуться, так неловко поскользнуться у подъезда и упасть, чтобы после еле-еле шевелить клешней болезной, корчить дикие гримасы и с трудом соображать! Неприятности подобной с ним могло бы не случиться, если б он не торопился, встал пораньше, не тупил, собирался порезвее, вышел вовремя из дома, и, конечно же, заметил и удачно обогнул эту слизистую мерзость, эту шкурку от банана, нагло брошенную прямо у порога шевбутным, невоспитанным подростком из квартиры номер восемь, хамоватым и вонючим, как походные носки. А теперь – избави боже – если трещина, то, значит, он остался без работы на неделю, даже две, – а какое без работы, если съемная квартира и текущие расходы, и кредит на бмв... Мальчик все еще не в курсе, что кредит – такая прелесть! – возвращать ему не светит в свете третьей мировой, и мучительно решает: то ли ехать на ночь глядя на рентген, а то ли кушать аналгину и бай-бай.

Вот на этом самом месте, на банановом кульбите, связей следственно-причинных разветвляется поток на капризные извивы ручейков неочевидных: тятя, тятя, наши сети притащили многочлен. Совершенно непонятно, как решается задача, и решается ли вообще, и кому ее решать, как добраться до истока – а точнее, до какого из истоков

добираться вдоль по склизким берегам. Виноваты ли тупые, безответственные предки из квартиры номер восемь, прекратившие давно все попытки достучаться, докричаться, дотянуться до расслабленного чада сквозь махровый пубертат? Виноват ли парикмахер, вьюнош трепетный и бледный, но лениво-неуклюжий, особенно по утрам? Неужели, право слово, трудно было встать пораньше, неужели так уж сложно чаще под ноги посмотреть? Виноват ли мэр столичный, запретивший нелегально, без патента, тротуары и подъезды подметать, отчего начальник жэка выгнал тихого Ахмета и, в детали не вникая, нанял бойкого Санька? А Санек, такое дело, раньше часу не проспит, раньше двух и не возьмется за лопату и метлу, а случится рано утром неопрятному подростку бросить шкурку от банана – так и хрен с ней, полегит...

Младший ангел-надзиратель мирового обустройства, канцелярии небесной неприметный хлопотун, справедливо полагая, что бессмысленно и дальше погружаться в несъедобный человеческий компот, и дотошно выполняя указания начальства – третий том, параграф первый, пункт четыреста второй – для поправки конъюнктуры выпускает на прогулку неприметную бабульку из квартиры номер семь. Аккуратная бабулька на банановую шкурку не наступит – но заметит, поворчит

– но подберет, и на ней не поскользнется торопыга-парикмахер, и капризную клиентку идеально пострижет. Умирая от восторга, красотуля-капризуля звякнет мужу, скажет «чмоки» и пойдет по бутикам, ну а муж – пожалуй, лучший повар в этом захолустье – нежным словом окрыленный, на работу полетит, где приветливо, но строго все проверит, до мельчайших мелочей, и, лососину на помойку завернув, драгоценному владыке – к сожаленью, временами столь не крепкому желудком – приготовит на обед нежный суп из авокадо, диетическую спаржу и свежайшего цыпленка: это будет манифик! Все останутся довольны, все останутся здоровы, и растает в отдаленные призраки третьей мировой.

Мир спасен. Коварный, злобный и презренный искуситель человеческого рода посрамлен в который раз. Из небесного буфета слышно ангельское пенье. Канцелярское дежурство мерно близится к концу. Крякнув, ангел-надзиратель поднимается со стула, осторожно расправляет подзатекившие крыла и спешит с благою вестью к богоизбранной бабушке: слышь, возлюбленная бабка, собирайся в магазин. Бабка шкрябает в затылке, но затем хватает бойко старомодную кошелку да замызганный жакет и выходит из подъезда в то же самое мгновение, как запущенный подросток доедает свой банан. Он швыряет ей под ноги кожуру – и тут старуха нарушает

хитроумный, утвержденный свыше план, и бежит за хулиганом, потрясая той кошелкой, угрожая участковым и общественным судом. В это время из подъезда вылетает парикмахер, – натурально, нагнувшись на поганой коже – и со всей летучей прыти растянувшись на асфальте, рвет на самом видном месте дорожное пальто. Сатанея от досады, он встает и продолжает путь – но разум возмущенный жадной мщенья томим: парикмахер ненавидит всех и вся, и с наслаждением сволочному мирозданию резво ножницами мстит.

И почтенные матроны задыхаются от гнева, и гламурные девицы матерятся от души, идиотка на ресепшен прячет жалобную книгу, имидж модного салона тает прямо на глазах. Карсотуля-повариха заливается слезами, прикрывается платочком и бегом бежит домой, где ее встречает пошлый боров-муж и вопрошает: это что за катастрофа у тебя на голове? Тут взрывается пространство, разлетается посуда, облетает штукатурка, стены ходят ходуном. Молодая повариха собирает чемоданы и с победно-гордой мордой уезжает в свой Тамбов. Старый повар от расстройства – ведь развод, ремонт, убытки – выпивает полбутылки дорогого коньяку и, конечно же, не едет на постыльную работу: я сегодня поболею, что-то сердце барахлит. Время пахнет тухлой рыбой, время пахнет свежей кровью, мачо мэн уже несется

в беломраморный сортир. Том шестой, шестой параграф, пункт шестой: асталависта; скорбный ангел-надзиратель отправляется в буфет. А прямой его начальник, укоризненно вздыхая, набирает ржавой глины и отравленной воды, и прилежно, и с каким-то сладострастным упоением лепит ржых тараканов, напевая «отче наш»...

* * *

Клуб одиноких сердец ефрейтора С, выходя из деревни Гнилые Рожны – от областного центра по бездорожью сто пятьдесят кмэ через жидкий лес и холостые нивы; деревни, где куры – и те к обеду пьяны, как свиньи; где безразличие, бессмыслие и бесчинье грязной слюной стекают по бороде вечности; где дерьмо посереде двора, благоухая, может лежать полгода – если, конечно, мать-перемать-природа не приберет за собой своего добра; где, разменяв тридцатник, царицы дум приобретают форму мешка с картошкой и темперамент валенка; где в окошко кажут живым мертвецам, каково в аду; где – но оставим, впрочем, больной пейзаж и перейдем к портрету; портрет в пейзаже будет неразличим до того, что даже жаль изводить бумагу и карандаш: ибо банальна физия, как и все прочее в нашем, сорри ту сей, герою: от послужного списка до геморроя,

от молодецкой лысины до трусов,
криво заштопанных – чай, не мундир, не фрак –
личным мешком картошки; на эту рожу
он и во тьме крошечной уже не может,
но уважает, типа, законный брак,
но, приседая, делает роже ку,
стоит лишь той возбуждуть, заволноваться,
чтобы затем как следует оторваться,
правя мозги какому-нибудь дрючку,
трепетному салаге, куску говна:
пусть повалится пару часов в отрубе,
пусть навсегда запомнит...

...так вот, о клубе:

здесь привечают всех, невзирая на
связи, чины, воспитание, возраст, пол,
рост и фигуру, айкью и размер дохода,
хрони, недуги, заслуги любого рода,
милый обычай копыта ложить на стол;
или по вечерам надираться в дым,
под Окуджаву и, скажем, Высоцкого; или
страсть к ежедневной самолоботомии
перед священным ящиком голубым;
интеллигентный лузер, герой войны,
глянцевый телеведущий, блатной политик,
бодрый студент и древний беззубый нытик,
юная дева и старая – все равны,
перед уставом клубным – и все, увы,
без обсуждений и прений как есть бесправны:
славны – не славны, застенчивы, своенравны –
по барабану явно ефрейтору С.

Вот наступает ночь – и она нежна,
и накрывает плюшевой мглой полмира;
круглая, как проклятие Казимира
в черном квадрате рамы торчит луна
и освещает клубную залу, где
сонная пыль по замшелым углам клубится;
где неуютно и холодно, как в больнице,
как на далекой, полуслепой звезде;
где на стене висит не ружье – труба
медная; где портреты вросли в обои;
где неуклюже, рассеяно, сам с собою
кружится в медленном вальсе
ефрейтор Судьба.

